**В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК**

ПАСХАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ Е.Н.ОПОЧИНИНА

По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

**Блаженный воевода**

Нравен Тотемский воевода, князь Семен княж Петрович сын, Вяземский. Пока жил на Москве — где его, бывало, ни посадят, куда ни пошлют — все ему не в честь да не в место. Вот за то и велели ему ехать на воеводство подале, где похолоднее, авось де прохладится. А вышло ничего: прижился князь на Тотьме, в студеной лесной стороне, — второй уж год доходит, как он сидит на воеводстве.

Сказать по правде, нрава своего блажного он не пременил: по-старому крут и самоволен, и людям от него порою солоно приходится. Ну, да что ты будешь делать? Воевода ведь, и то сказать — не крестный, станется, и все они такие... Людишкам исстари заповедано, чтобы молчали и терпели. Ну, терпели и на Тотьме... Челом что ли будешь бить на воеводу? А куда? На Москву — далеко: еще придет али нет челобитье, а и придет, так в приказах-то своя братия, бояре, — знамо, своего не выдадут, покроют.

А временем чуден и затейлив был князь-воевода, и дивились люди, на него глядя. Пуще всего на свете возлюбил он песни. Игрецы всякие, гудочники, гусляры, домрачеи — были ему будто своя ровня. Бывало, сидит в судной избе с товарищами, а услышит, что на улице заиграли веселую песню, все бросит, выскочит и пойдет вприсядку. Ну, а люди тому и рады: где поклонами да слезами не возьмешь воеводу, там он все сделает за песню. И бывала же потеха! Чуть не каждый день песнями выманивали на улицу воеводу: играют ему с величаньем, а он ходит, ровно кочет, голову задравши, а товарищи с подьячими ждут-пождут в судной избе...

Чего там! Честью боярства не дорожил князь Семен Петрович из-за песен. Как-то был в Тотьме, проездом на Москву, посол голландский Кондратий Клинкин, так целую неделю проплясал воевода под немецкие цымбальцы. А как сказал ему посол, что есть у него в обозе еще мудреная мусикийская штука — палочки, в лад, аки гусли, подобраны, — князь стал посла молить, чтобы те палочки ему отдал. И говорил ему посол: “Палочки-де у него в обозе впереди, и взять их не мочно...” Тут князь-воевода кланялся ему земно, а как и это не взяло, заплакал, что малый ребенок...

Таков был Тотемский воевода князь Семен Петрович, только не всегда: в ином деле он учинялся и крутенек. Как собирают, бывало, с посадских и с крестьян уездных подать, так целые деревни на правеже держал по суткам. Бывало, и в иных судных делах — упрется князь, и хоть ты будь век правым — вину на тебе сыщут. Знамо дело — недаром этак вершил дела воевода: кто хотел быть правым, тот неси ему немалые поминки. И в таких делах уже никого не слушал воевода, не была сильна над ним и песня.

Правду сказать, был один человек на Тотьме, которого боялся Семен Петрович, да на беду он не сидел на одном месте; а ходил повсюду: на Вагу, и в Архангельский город, и по монастырям, и до Москвы самой. И был тот самый человек не простой, а юродивый-блаженный, прозорливец. Имя было ему крещеное Василий, а в народе звали его Васей. Лето и зиму ходил он босой, в одном понитяном подряске, на голове войлочная с железным околом шапка, а на груди и на спине — тяжелые вериги.

Почалось, что стал бояться Васи воевода, с самого приезда его в Тотьму. Как прослышали люди, что едет новый воевода — собрались у воеводского двора, кто с чем: кур нанесли связанных, гусей, утиц кормленых, а иные приволокли целые говяжьи туши. Один посадский привел за рога барана... Священники пришли туда же: как водится, надо отслужить молебен. Впереди всех встали приказные люди-дьяки с подьячими, а в стороне — затинщики, воротники, стрельцы городовые. И все стояли и ждали, едва не целый город. Пришел туда же и блаженный Вася: стоит, веригами позванивает, посошком стучит по земле. Стучал, стучал и спрашивает:

— Кого ждете, человецы?

— Воеводу нового, князя! — ответил ему кто-то.

— А! Братца моего! — говорит. — Пождите, скоро он будет...

И опять стучит посошком.

— Неладно, — говорит, — встречаете вы моего братца: вам бы гудочников звать сюда, гусляров, песни бы заиграть, то было бы ладно: дурак он у меня, братец-то мой воевода, любит бесовское гуденье...

Говорит так юродивый Вася, а махальные с колокольни тем временем и закричали:

— Под самым городом государь-воевода! Едет!

И всполошились все от мала до велика. У кого была не связана поминочная птица, те с переполоху выпустили, — разлетелась она... Крик, гусиный гогот. У посадского вырвался баран, тот за ним мечется, ловит.

А воевода уж въезжает в город. На коне сидит, кругом его люди, а впереди что есть силы бьют в литавры. Подъехал воевода, приняли его с коня. Только он к крыльцу, а там стоит Вася. Как он очутился там — никто не ведал.

— Здрав буди, брате! — говорит он князю. — Что потемнел? Али не признал своей крови?

А воевода и вправду потемнел, насупил седые брови.

— Кто, — спрашивает, — человек сей?

Только хотели ему сказать, а блаженный как запляшет на крыльце, да как закричит:

— Дурень, брате, дурень!

А сам поднял посох, да с ним на князя... Ладно, вовремя успели схватить, а то беды не миновать бы.

И велел воевода кинуть блаженного в татебную яму. Подбежали стрельцы и затинщики, связали по рукам Васю и повели, а он оборачивается на князя, крестит его, ирмосы поет.

Недолго пробыл в яме блаженный: той же ночью ушел он из нее, хоть неделыцики и забожились, что его не выпускали. Утром, чуть свет, он уж стоял перед окнами воеводской избы, пел ирмосы и от Писания увещал князя-воеводу. И сказывали, князь не спал и слышал, что говорил блаженный. А там Вася пропал и не был в городе с месяц. Где ходил он, по каким обителям и весям — никто не ведал.

Появился он в Тотьме опять, когда князь Семен Петрович неправдой кинул в яму устюгского богатого гостя Юрья Ончакова. Блаженный пришел прямо в избу к воеводе и сказал:

— Брате? Выпусти на волю Юрья...

И князь послушал: отдал ключи от ямы Васе, а тот пошел и отпустил Ончакова. С тех пор так и пошло. Только без блаженного и была воля воеводе, — без него шли пиры у князя, гусляры собирались, домрачеи; без него на правеж ставили едва не сотнями людей, а как он был в городе — тихо сидел у себя воевода и не творил никакой неправды. Не выходил он на улицу даже на песни.

Доходил другой год, как князь Семен Петрович сидел воеводою на Тотьме. Ранняя настала весна: еще в половине поста пошли оттепели, а к Страстной уж и снегу было мало. Веселое, радостное стояло время — тепло, лед на реках ломает, птица всякая летит в небе... Только тотемским посадским было не до вешнего веселья. Словно взбесился воевода: наступает праздник, а воеводские люди, что ни день, ходят по дворам, вымогают: давай им, вишь, на корм, — а кто не даст — того в яму. Такая воля им дана была от князя... Скоро уж и места не стало в тюрьме, стали сажать в амбары. И сказывал будто бы князь, что не выпустит он тех колодников и на Великий праздник.

И стоял в городе стон и великий ропот. Словно на беду, и блаженного не было в Тотьме, — он ушел уж месяца с два, и не было о нем слуху. Ждали его, ждали, да и ждать перестали.

А время шло. Вместе с теплым солнышком, да ночными вешними дождями незримо подоспел праздников праздник, Светлое Христово Воскресенье.

В Великую субботу, после обеден, сбирались по общему совету горожане с женками и детками малыми ко двору воеводы, просить всем миром, чтоб выпустил колодников из тюрем хоть на праздник. “В других-де городах и знаемых татей в такие-то дни выпускать за обычай, а у нас и безвинных за замками держат”, — так меж собой говорили в народе.

Увидал князь Семен Петрович множество людей, вышел на теремной подзор, спрашивает:

— По что пришли? Чего надобь?

Закричали люди, зашумели:

— До тебя, государь-воевода! Смилуйся, пожалуй, — вели отпустить людишек ради светлого праздника Христова!

Стоит князь вверху на подзоре, слушает, смеется... Тут опять свое прокричали люди:

— Отпусти, смилуйся, княже!

А воевода молчит, величается над миром на подзоре. На беду, кто-то из недоростков со зла да с досады и крикни:

Не отпустишь добром, — сами выпустим, сильно...

Что тут пошло — и сказать слов не сыщешь. Распалился князь-воевода, завертелся на месте, замахал руками. Думали, свалится с подзора...

— Ах, вы, страдники! — кричит. — Смерды! Мните, и про вас тюрем да колодок не найдется... Вот я вас! Эй, люди!

Видят челобитчики — на крик стрельцы бегут, бросились кто куда врассыпную, разбежались по домам и сидят, запершись, в страхе — не пришли бы и их брать в ямы...

Так и просидели в избах до самой той поры, как пришло время идти в церкви. А церковные двери еще с вечера отворили. Свет оттуда идет на улицы от свечей в темную ночь. И великая настала тишина... Последние часы проходили и близили к заветному возглашению Великой победной песни...

Вот повсюду у церквей зажгли костры и смоляные бочки. Осветились разом улицы, выступили избы, узорчатые подзоры, коньки резные, крыльца. И тьмы как не бывало, и ожил весь город; по улицам закопошились, задвигались люди, все с узелками: надо принести домой освященные яички да праздничные перепечи. Наряженные все шли, прибравшись на праздник. А женки, какие помоложе, и девицы — те в парчовых ферязях, в корабликах с камнями, а рясны жемчужные ниже глаз спустились.

Прошел и воевода-князь с товарищами, с дьяками и подьячими в свой ближний приход и стал у самого амвона. Стоит, крестится и ждет, когда начнется служба. А в церкви почитай вовсе нет народу, — только он, князь, да свои приказные. И пусто в Божьем доме, словно и не праздник.

Вот благословился диакон, началась служба светлой утрени Христовой. Запели “Волною морскою”... На колокольне ударили в самый большой колокол. И загудели по всем церквам ответно с колоколен великие праздничные звоны, и двинулся крестный ход. Только мало было в нем людей посадских, и несли кресты и хоругви стрельцы да приказные князя. А он сам стоял темен, глядя на это запустенье...

Прошел вокруг церкви крестный ход, промелькали в узких окончиках огни фонарей, и вот у врат церковных заслышалось “Христос Воскресе!”. Упал на колени князь Семен Петрович, закрестился... А крестный ход уж в церкви, и великое множество вошло с ним народу, и все не в праздничных одеждах, а запросто, в затрапезах.

Смотрит воевода — и глазам своим не верит: перед ним все те, кого он в ямы посадил, а впереди всех блаженный Вася стоит в своем понитке, босой, звенит веригами и поет воскресные песни...

И убоялся князь Семен Петрович, — всю утреню..... простоял, не оглянулся, а как кончилась служба и стали все христосоваться, подошел к нему блаженный и возгласил:

— Христос Воскресе, братец!

Воевода обнял его и трижды лобызал братски...

А вся церковь в один голос пела “...друг друга обымем”. И пошел воевода по всей церкви, и христосовался со своими вчерашними колодниками, а те, не помня зла, ответно говорили ему:

— Воистину Воскресе!

И так безвременье переменилось в радость, как переменчивая вешняя погода: сейчас дождь и пасмурь, а смотришь — солнышко ясное играет. И не было веселее той Пасхи в Тотьме, сколько ни помнят.

На другой день пришла в город ватага скоморохов. Заиграли они перед окнами воеводы. Не стерпел он, вышел на улицу и тешился вволю. А блаженный стоял тут же, смотрел, но воеводу не корил и не бесчестил, и было князю тешиться вольно.

**Царские писанки**

Добрая изба у Саввы Багрецова, лучше всех на слободе. Жить бы в ней не простому мастеровому, а хоть бы боярину или дворянину. Крыльцо бочкой, в оконцах стекла, на высоком коньке прорезной флюгер, наличники как жар горят позолотой на весеннем солнце и пестреют ярко цветными разводами красок. Чего на них только нет: и цветы, и травы, и златорогие олени, и невиданные птицы...

А давно ли, каких-нибудь пять годов, на месте теперешнего палатного строения Багрецова стояла кривая, под соломенной кровлей, изба-поземка... И откуда же все взялось? Когда спросят об этом Савву, он всегда перекрестится сначала, а потом скажет:

— Да, все мне Бог послал вместе с “Христос Воскресе”...

Но как же это было? Ведь не сказка же это! Это только в сказках из ничего вырастают чуть не царские палаты. Какая сказка! Вот послушаем, что расскажут об этом думы самого Саввы... Кстати, собираясь в Кремль за Светлую службу, он стоит у переднего угла, где горят перед иконами филигранные лампады, и думает о прошлом...

И уборно же в горнице у Саввы: широкие лавки по стенам крыты суконными полавочниками, на полу — чистые холщевые дорожки, а в углу, где обычно молится хозяин, — узорчатый самотканый коврик. Большой стол на точеных лапах крыт скатертью, отороченной золотной каймою. Ну, и сам хозяин под стать палатному убору: в суконном кафтане вишневого цвета, перехваченном шелковым кушаком, в юфтевых сапогах на подборах, высокий и стройный, молодец хоть куда, не глядя на то, что едва вышел из недоростков. Вот он прошел к крайнему окошку и заглянул на выметенный начисто к празднику дворик. Там стоит мшоный птичник, над ним — вышка для голубей. Все строенье новое и крепкое. Улыбается Савва, глядя на свое владение, и тихая дума разливается по его молодому лицу.

Смеркается. Уж едва золотится у края неба отблеск угасающего дня. Скоро и ночь спустится на землю, темная-темная, словно темнее всех ночей в году. Она окутает все непроницаемой тайной для того, чтобы к урочному радостному часу загореться и засверкать повсюду, по всей земле, от царских палат до бедной хижины, светлыми огнями.

Смотрит в окно Савва и думает свою думу. Вот в такой же вешний вечер, в Великую субботу, пять лет назад, вышел он с лубяной плетушкой в руках из своей избы-поземки, что стояла на месте нынешнего хоромного строенья. И не светлая радость преддверья Великого дня была у него на душе, а темная ночь. Нужда темнила радость: полуголодные сестренки, да мать, в лютой скорби лежавшая на глиняной битой печи, остались дома... И шел он не для того, чтобы ходить с посадскими молодцами по церквам и слушать, как читают “Страсти”, а для того, чтобы стать на людном месте с своей плетушкой и продавать писанки своей работы. Авось кто, забывши припасти заранее, и купит, бросит убогому парню две-три медных деньги. А они куда как нужны на праздник! Дома один хлеб черный, нету даже и яичка, чтобы разговеться. Деревянные писанки своего дела хоть и куда красны — все в золоте, в резьбе и разводах — да ведь их есть не станешь...

Так шел Савва, мальчик-подросток, с Бронной слободы к Кремлю. Шел он в своем холщовом кафтанишке и думал невеселую думу, а кругом, весело переговариваясь, шли люди, загодя пробираясь к церквам, и несли для освящения завязанные в узелочки яйца и пасхи. Вот, помнит Савва, какая-то сердобольная женка по убогому наряду и по плетушке приняла его за нищего-побироху и опустила калачик ему в корзинку со словами: “Прими Христа ради”. Не один раз и раньше за Страстную неделю, пока он стоял на уличных крестах в ряду вольных продавцов пасхальных яичек, посадские женки подавали ему кто калач, кто укрух хлеба, а кто и медную деньгу, и это стало ему за обычай. Одна беда, никто не хотел покупать у него писанок, хоть и были они, как говорили многие, “зело красны и добродельны”. Брали у других размалеванные грубо, а его миновали, хоть и были они резаны немецким обычаем высокой резьбой.

Недаром отец покойный обучил его ремеслу, а был он мастер добрый, первый во всей слободе, и работал знатные штуки...

Так шел и думал молодой Савва Багрецов, вспоминая прошлое. А ночь все больше и больше надвигалась. Из открытых дверей храмов лился свет от множества свечей и полосами ложился на утоптанном уличном проезде. Все рогатки были открыты, — знамо, в эту ночь нечего бояться лихих людей, и они, чай, помнят о Боге...

Ближе к Кремлю народу стало встречаться больше. Он волнами приливал к воротам, толпился у них и потом пропадал в их темных проломах, словно поглощаемый ночью. Нищие и убогие, слепцы, калики рядами сидели у стен хоромных и церковных, протягивая руки к мимоидущим. Посреди площади рядами горели костры и бочки, и красное полымя освещало белые стены. Тихий говор несся отовсюду, и в нем чуялось торжественное ожидание...

Савва шел мимо сидящих нищих, то и дело опуская руку в свою заветную плетушку, оделял их простыми крашеными яичками и мелкими деньгами: по себе знал он, что убогому человеку простое куриное яичко дороже красной писанки о Христове дне...

Так, оделяя нищих и убогих, дошел Савва до ворот Спасских, что слыли прежде Фроловскими. Высоко над ними поднялась башня, а в ней часы хитрого дела, что звонят и перезванивают не один раз на одном часе. Дальше — мост Спасский, с лавками по сторонам, а вот и поповский Крестец, всегда людный от снующих тут и там и сидящих на лавках и приступах крыльца тиунской избы безместных священников. Даже и теперь, в Святую Великую ночь, несколько их ходит на Крестце. Вот они обступили Савву и здравствуются с ним, величая Саввой Никитичем, не как пять годов назад, когда иного имени не было ему опричь Савки. Всякий так его кликал, а бывало еще и с добавкой — “страдниченок” или “страдненок”... Зато теперь послушай-ка, как честят Савву.

— Ах! Савва Никитич! Милостивец наш! Здрав буди на многи лета! Добро, службишку не надо ли справить на дому? Не побрезгуй нами, милостивец, позови! А мы про тебя служить рады...

— Нет, — отвечает Савва. — К утрене пойду в церковь...

А сам оделяет всех из своей плетушки и сует в руки деньги, доставая их из глубокой сафьянной кисы, привешенной у пояса под кафтаном. Они благодарствуют ему вслед, а он поворачивает к воротам и идет в Кремль. Гулко отдаются шаги его под высокой башней. Вот темный уголок в повороте стены. Там сидит безрукий нищий, прямо на голой земле, мерно кланяется одной головой и протягивает страшные обрубки рук... Наклоняется к нему Савва, а сам думает, что калека сидит на том месте, где пять лет назад, в эту же Святую ночь, стоял в рваном кафтанишке мальчик Савка, держа перед собою вот эту самую плетушку с изукрашенными писанками, и ждал прохожих, — не остановится ли кто, не купит ли его изделия. Но людям было не до него, все спешили в церкви и проходили мимо, не бросив на него взгляда. Он стоял, дрожа от холода, молился Воскресшему Христу и повторял временем, когда показывался прохожий:

— Христа ради, Христа ради...

Но вот совсем перестали показываться люди. Все кругом затихло... В Кремле стало светло, будто днем белым, от тысяч зажженных огней, и вдруг все дрогнуло от могучего удара в большой колокол с Ивановской колокольни. И загудела медными голосами вся Москва со всеми пригородами, слободами и Замоскворечьем... Радостное, торжественное пение понеслось со стороны кремлевских храмов. Губы Савки невольно завторили ему заветными словами: “Христос Воскресе! Христос Воскресе!”. А кругом и зубцы седых стен, и звезды в темном небе, и все, даже самый воздух, чудилось, зашептало ответно: “Воистину Воскресе!”.

Долго стоял он так, один-одинешенек, в углу у кремлевской стены и молился. Но вот стали догорать и гаснуть один за другим праздничные костры и смоляные бочки. Кругом снова сделалось темнее.

Несколько стрельцов с бердышами на плечах пробежали, озираясь по сторонам. Человек шесть стали у стен невдалеке от Савки. Не приметила его стража в его темном углу... Но что это за чудо? Великая толпа людей в светлых одеждах идет сюда, к воротам, словно крестным ходом. Да нет, крестный ход не бывает в эту пору... То не крестный ход, — нет ни икон святых, ни креста, только впереди двое мальчиков в белых, серебром шитых, кафтанах несут прорезные фонари. За ними старики какие-то, уставив в землю длинные седые бороды, неслышно двигаются, еле переставляя ноги, еще несколько людей, а тут двое под руки ведут кого-то... Он высоко держит голову, и глаза его сияют ярче самоцветных камней драгоценного оплечья...

Савва вспомнил, как он зажмурил глаза, словно от нестерпимого света, и невольно опустился на колени, протянув вперед себя свою плетушку с писанками. В то же время губы его как-то мимовольно, сами собой, выговорили слова:

— Христос Воскресе!

Дрогнули передовые старики и остановились. Стал и человек в сверкающей шубе, которого вели под руки, и ясным, радостным голосом сказал ответно:

— Воистину Воскресе!

И все кругом, сколько тут ни было народу, один перед другим заговорили: — Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! И опять казалось Савке, что и седые стены, и звезды в высоком небе, и самый воздух повторяют эти слова.

А там было словно во сне... И теперь Савва Никитич, вспоминая пережитое, не знает — было ли то наяву или в сонном видении? Человек в сверкающей шубе, с крестом на груди, — сам царь, как догадался теперь мальчик, — склонился над плетушкой Савки и, взяв одну из писанок, молвил:

— Красны твои писанки, человече! Вельми добродельны... И божественные слова резаны лепно. Своего ли дела?

— Своего, — еле смог ответить Савка.

Государь передал писанку стоящему рядом человеку, а тот, приняв ее с низким поклоном, подошел к Савке и из большого кошеля высыпал в его плетушку целую горсть серебряных денег.

Двинулся вперед царский милостивый ход, а к Савке, толкая один другого, стали подходить люди. Они брали его писанки и клали на их место серебряные деньги.

Скоро разобрали все до единой, и многим еще не хватило. Тогда какой-то боярин стал просить принести ему на дом и спросил, где живет Савка.

С этого и пошло. Писанки его прослыли “царскими”. А теперь, вот уже пять лет, как нет Савки. На месте его на слободе в добром достатке живет с матерью и сестрами молодой мастер Савва Никитич. Он искусно работает утварь хитрого дела для многих бояр, а к Светлому Христову дню едва успевает для всех приготовить своих писанок. Неизменно приносит он их и к царскому двору.

Опорожнив свою плетушку дачами нищим и убогим, Савва отдал ее поберечь приворотной страже, а сам пошел к Чудову монастырю. Скоро ударят к утрене... Уж в Кремле на площади светло от огней. На ходу Савва, вспоминая прошлое, повторял про себя:

* Да, истинно, все мне пришло вместе с “Христос Воскресе”...